

Библиотека Классической Литературы

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Тихий Дон

Книги I–II

Москва  2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы
фрагменты работ художников
Эжи Коссака, Петера Мёнстеда и Василия Сурикова

Шолохов, Михаил Александрович.

Ш78 Тихий Дон. Книги I–II : [роман] / Михаил Шолохов. – Москва : Эксмо, 2023. – 720 с. – (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-04-116679-3

«Тихий Дон» – это грандиозный роман, принесший его автору – русскому писателю Михаилу Шолохову – мировую известность; это масштабная эпопея, повествующая о трагических событиях в истории России, о человеческих судьбах, искалеченных братоубийственной бойней, о любви, прошедшей все испытания.

Трудно найти в русской литературе произведение, равное «Тихому Дону» по уровню осмысления действительности и свободе повествования.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© М. А. Шолохов, наследники, 2023
© Ю. Бондарев, предисловие, 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-116679-3

Содержание

Ю. Бондарев
Перечитывая «Тихий Дон»

6

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

11

Часть вторая

104

Часть третья

214

КНИГА ВТОРАЯ

Часть четвертая

369

Часть пятая

535

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ТИХИЙ ДОН»

Не «свирепый реализм», а редкостная искренность свойственна талантам типа Льва Толстого.

«Тихий Дон» — раскрывшиеся врата на длинном пути к истине.

Говорят, есть Шолохов времен «Тихого Дона» и есть Шолохов поздний. Какой из них лучший? Да какое дело читателям до этого мнения критиков, расчлняющих и разделяющих на части художника?

Не от любви ли ведется отсчет времени, не это ли мгновение начала жизни? Живет ли вообще человек, лишенный любви?

Как похожи понятия «любить» и «верить».

В душе Григория — противоречия, враждующие между собой смертельно. В третьей книге повержены, разбиты, утоплены в крови две толстовские добродетели — любовь к ближнему и умиротворенность.

От «Тихого Дона» исходит сияние свободы, красоты, правды.

Все здесь ново: и мысль, и форма. И от всего этого входит в душу спокойная радость, начинаешь верить в силу искусства.

Это «вечное произведение», наполненное гулом грозной поступи истории.

Для Гете борьба с демоном была смыслом его жизни. Одержал победу и Шолохов, исповедуя одно — правду.

«Тихий Дон» — лицо времени или разрушение времени?

Роман этот находится в дальней родственной связи с великими эпopeями — «Илиадой» Гомера и «Войной и миром» Толстого.

Живописец: «Я должен видеть».

Музыкант: «Я должен слышать».

Писатель: «Я должен видеть, слышать, знать». Шолохов многое видел, многое слышал, многое знал.

Наверное, высота мудрости — это самообладание, отсутствие страха и надежды.

«Тихий Дон» — не кряж, не горная цепь, а одинокая гора, вершина которой пока недостижима.

Искусство этого романа — взгляд, проникающий в самую душу человека на изломе истории.

Вспомнил чью-то фразу: «Сентиментальность во время войны лишь преступная глупость». Где здесь правда и где непростительная бесчеловечность? Жизнь героев «Тихого Дона», исполненная мук и скорби, — жизнь людская.

В иные исторические периоды насилие — необходимость. Можно ли с этим согласиться?

Есть ли отчужденность между философской мыслью и простым человеком? У Шолохова — мудрые герои.

Согласие со своей совестью — нравственность. Сделка с самим собой, со своей совестью — предательство.

Для прогресса средства важнее, чем цель.

Иные, сами ничего не создавая, со сладострастным злорадством подвергают сомнению работу талантов.

Почти каждый художник соткан из противоречий.

Гении тоже огорчаются из-за мелочей повседневности, в то время как их жизнь не проходит, она бесконечна. Не сомневаюсь, что слава Шолохова перейдет в бессмертие.

Говорят: прославлен за счет всех классиков и современных писателей, — так бывает с модными литераторами. Шолохов прославлен за счет самого себя. Он выше жалких критериев одного дня.

Утонченные эстеты возмущались грубостью, изнеженные поборники монастырской морали и ханжи негодовали, ужасались и предавали анафеме, а роман жил и продолжает жить.

Современных западных критиков интересует рождение на свет и развитие только текста, ибо он есть мозаика среди родственных мозаик или трансформация другого текста. Они убеждены, что литература делается из литературы, написание романа — результат насыщенной чужим текстом, чужими романами. В тексте возможен «плагиат», «общее место», «стереотип», тогда, значит, автор не «изобретатель» текста, а коллекционер разных стилей. Западные критики говорят: «Текст повинуется только своим внутренним законам, все ос-

тальное — идеология». Однако структурный метод критика выявляет лишь скелет романа.

Шолохов нов во всем, он не поддается анализу западных структуралистов, так как нельзя развязать великое ради заданной «литературной игры».

Революция — это не миссия перераспределения свободы и свобод, а жестокий акт воздействия на действительность с попыткой изменить ее.

Роман отражает отношения между людьми, и если он, роман, изменив своему назначению, извратив свою натуру, поворачивается к обществу спиной, он совершает самоубийство. «Тихий Дон» повернут лицом к народу.

Литература пытается дать ответ на главный вопрос: как жить человеку в обществе.

Думаю, что понятия «реализм» и «эксперимент» — совместимы, что найденные новые формы приведут к открытию и успеху, и все-таки я возвращаюсь к изначальному вопросу: реализм — это система мышления и метод анализа без библейского смирения? Всякий литературный терроризм страшен, страшна и нетерпимость.

Литература народа, от имени народа и во имя народа не имеет права черпать материал в сплетнях, рассказанных в кулуарах писательского клуба. Шолохов — это воссоздание жизни народа.

Юрий Бондарев

КНИГА ПЕРВАЯ

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
— Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Старинные казачьи песни

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиного база ведут на север, к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуманных плетней, — Гетманский шлях, польнная просесть, истоптанный конскими копытами бурый, живущой придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю Турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сторбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с иму-

ществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто переключались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вьнут зори, на руках носил жену до Татарского ажника кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попала к Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости Бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица-то как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось не сладко на чужой стороншке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Долж-

но, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а изпод рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день Троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стучал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

* * *

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотре на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гнев доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршуначий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитем — вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендывы¹, камышистая непролазь, лес в росе — польхали испступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в полисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, подобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирок, выправляя подвернувшийся задник.

¹ Ендыва — котловина, опушенная лесом.

— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зарáz.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, похозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энттой кáрши, где надысь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норovia повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушинные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженья в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерт гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилица, полез, стараясь не шелохнуться, за кистетом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разнo берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чútно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлопнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди сазан со стоном прыгнул

вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

* * *

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилица.

Григорий выплюнул остаток сигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натошак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды — в это время конец удилица, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилице, но конец стремительно зарылся в воду, удилице согнулось от руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилице.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилице и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стremени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

– Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

– Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

– Держи, Гришка!

– Держу-у-у!

– Гляди под баркас не пуцай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

– Голову его подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

– Отвоевался! – крикнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпаком.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

– Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.

– Ты, Григорий, вот что... – нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка, – примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезааясь в мускулистую прижатую солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

– Ты гляди, парень, – уже жестко и зло продолжал старик, – я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело может до греха разыграть, а я наперед упрещаю: примечу – запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, – жмурия выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

– Наговоры, – глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

– Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. За-
витушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец
напомнил:

— Гляди не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все
игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак
разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, ба-
тя, хоть стреноженный, уйду ноне на игрище», — думал, злоб-
но обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присох-
ший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Мить-
кой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного
пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглин-
кой глаза. Зрочки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого
взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им...

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке
Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой ворот-
ник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым кли-
нышком бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз
нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в
руках Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той

поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепаживая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей сигарки искусно и без промаха: прижмет кiset к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую сигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилиу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На Масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почему просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, шурясь, замахал обрубком руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор¹, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про Турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — Пойдем послушаем?

— Покель будем слушать — сазан провоняется, распухнет.

¹ Ктитор — церковный староста.